



ХАТЫНСКАЯ
ПОВЕСТЬ

**АЛЕСЬ
АДАМОВИЧ**



МОСКВА

УДК 821.161.1-31(476)
ББК 84(4Бей)6-44
А28

«Фотография на 1-й стороне переплета:

© Олег Кнорринг / РИА-Новости;

Фотография на 4-й стороне переплета:

© Евгений Коктыш / РИА-Новости»

А28 Адамович, Алесь Михайлович.
Хатынская повесть / Алесь Адамович. — Москва : Эксмо, 2026. — 256 с.

ISBN 978-5-04-218373-7

Алесь Михайлович Адамович (1927–1994) — советский белорусский писатель, литературовед, критик, общественный деятель, профессор, участник Великой Отечественной войны, боец партизанского отряда.

«Хатынская повесть» — одно из самых пронзительных произведений о Великой Отечественной войне, посвящённое трагедии белорусских деревень, зверски уничтоженных фашистами и полициями.

Партизанский отряд, оказавшийся в окружении, вынужден скрываться в деревне, где ему помогают местные жители, несмотря на смертельную угрозу. Обнаружившие следы отряда фашисты начинают карательную операцию...

Произведение основано на реальных событиях, документальных свидетельствах и личном партизанском опыте автора.

УДК 821.161.1-31(476)

ББК 84(4Бей)6-44

© Адамович А.М., Шuvaгина —
Адамович Н.А., 2026

© Оформление. ООО «Издательство
«Эксмо», 2026

ISBN 978-5-04-218373-7

Книга Алеся Адамовича «Хатынская повесть» написана на документальном материале.

Главный герой — бывший партизан Флёра вспоминает события прошедшей войны.

Впервые напечатана в журнале «Дружба народов», 1972, № 9, отдельной книгой вышла в 1973 году. За неё автор получил Государственную премию БССР имени Якуба Коласа (1976) и премию Министерства обороны СССР (1974).

Кинофильм «Иди и смотри» (1984), поставленный по сценарию Алеся Адамовича (на основе произведений «Хатынская повесть» и «Каратели») в соавторстве с кинорежиссёром Элемом Климовым, в 1985 году получил Золотой приз и приз ФИПРЕССИ на XIV Московском кинофестивале, а также специальный приз на I Международном кинофестивале «Фестроя» в Сетубале, Португалия.

Картина была показана во многих странах мира и вызвала огромный резонанс. Она входит в топ-рейтинг крупнейшей мировой кинематографической базы данных IMDb и включена в список «50 фильмов, которые нужно успеть посмотреть перед смертью». Британский журнал Timeout London и вовсе отдал этому фильму первое место в рейтинге «50 наилучших фильмов про Вторую мировую войну». В 2017 году на 74-м Венецианском кинофестивале в номинации «Венецианская классика» он получил награду за «лучший отреставрированный фильм».

«Хатынская повесть» была переведена на английский, армянский, болгарский, венгерский, испанский, казахский, молдавский, немецкий, польский, словацкий, украинский, чешский и французский языки.

«В Белоруссии уничтожено более 9200 деревень, более чем в 600 из них убиты или сожжены почти все жители, спаслись единицы».

*Из документов
Второй мировой войны*

«Я выскочил из машины и начал пробираться между микрофонами.

- Лейтенант Келли! Вы действительно убили всех этих женщин и детей?
- Лейтенант Келли! Как себя чувствует человек, который убивает женщин и детей?
- Лейтенант Келли! Вы не жалеете, что не смогли убить большее количество женщин и детей?
- Лейтенант Келли! Если бы вы могли сегодня вернуться и снова убивать женщин и детей...»

*Из «Исповеди»
американского лейтенанта
Уильяма Келли, одного из убийц
вьетнамской деревни Сонгми*

«Не укладывается даже в мыслях, что на этой планете может быть война, несущая горе миллионам людей».

*Обращение Георгия Добровольского,
Владислава Волкова, Виктора Пацаева
к людям Земли из космоса 22 июня 1971 года*

... — Тут уже целый взвод! — громко произносит человек в тёмных очках с белой металлической палкой в руке.

Мальчик в голубом плащике, вскочивший в шумный автобус впереди него, высматривает свободное место.

Человек в очках задержался у двери, слушает наступившую от его голоса тишину; глубокие дуги, скобки возле рта, лицо, суженное книзу, некрасиво заострённое, зато лоб очень широкий и, как у ребёнка, выпуклый. Рот вздрагивает виноватой улыбкой слепого.

— Папа, там место, — говорит мальчик в прозрачном плащике и касается сразу вздрогнувшей ему навстречу руки.

Снова зашумел, закричал автобус, но недавняя внезапная тишина тоже осталась — как дно. Голоса, весёлый крик — слишком торопливые.

— Гайшун! Сюда, браток!

— К нам, Флёра.

— Сюда давай!

Человек с врезанной тихой улыбкой слепого кого-то дожидается. Металлическая палка сухо, пусто тело звякнула: слепой задел стойку.

На ступеньку автобуса поставил мешок вспотевший мужчина в измятом суконном костюме.

— Это куда автобус?

— В Хатынь.

— Куда?

— В Хатынь.

— А! — неуверенно протянул хозяин суконного костюма, забирая мешок.

В дверях появилась женщина в цветастом летнем платье с сумкой и плащом-болоньей на загоревшей руке. Поднялась на ступеньку, смуглое лицо её улыбается рядом с коротко остриженной, совершенно белой головой слепого.

— Глаша, к нам!

— Сюда садись, в третий взвод!

— Надоели вы ей в лесу! Верно, Глаша?

Женщина, произнеся негромкое «здравствуйте», коснулась локтя слепого, и он пошёл через автобус. И сразу стала заметна связывающая их неторопливость, напряжённая плавность, какая бывает у двоих, несущих одно полное ведро.

— Сюда, папка, тут место, — громко позвал мальчишка, который уже устроился спиной к кабине, по-детски положив ладони на сиденье по обе стороны от себя.

Очень моложавый и шумный пассажир приподнялся с места и схватил слепого за плечи.

— Флёра, с моей посиди. А я с Глашей.

— Костя, — укоряюще сказала жена шумного пассажира, вся такая беленькая, приветливо улыбнувшись слепому, — не мешай человеку пройти. Какой же ты!..

Человек в тёмных очках привычно нёс руку впереди; с ним здоровались, трогая худые пальцы, они чутко вздрагивали.

— Живём, Флёра?

— Это кто? Ты, Стомма?

— Узнал? Я, братка, я это.

— А это чья голова?

— Рыжего. Помнишь такого? Подай голос, Рыжий.

— Покажись, — рука слепого вернулась назад, — покажись! И правда — Рыжий!

— Здравствуйте, Гайшун. — Пассажир приподнялся, неловко, как детскую, пожал руку слепого.

Женщина, пока длится процедура узнавания, стоит за спиной мужа, она тоже улыбается, но ни на кого не смотрит, тогда как чёрные очки слепого внимательно всматриваются на каждый голос.

Руку слепого перехватил очень плотный пассажир с косящими глазами. Ремешок от фотоаппарата раздваивает его мягкое плечо, и весь он какой-то выпирающий, овальный в своём новеньком синем костюме.

— Не узнаешь Столетова?

— И ты тут? — удивился слепой.

— А где мне быть? — Столетов обиделся.

Но женщина уже провела Гайшуна дальше. Он задел колено грузного и даже в сидячем положении высокого человека, который, как переросток за партией, сидит вполоборота, загораживая проход.

— Здравствуйте, — негромко и очень спокойно сказал грузный пассажир. И повторил: — Здравствуйте, Флёра.

От его голоса на какое-то мгновение снова открылась — как близкое дно — тишина.

Женщина с изменившимся сразу лицом схватила Гайшуна за плечи и быстро провела его вперёд. Посадила и сама села лицом к кабине и спиной ко всем.

Мальчишка позвал:

— Тут лучше, папка.

— Вот и сиди! — оборвала его мать.

У кабины — лицом ко всем — удобнее сидеть было бы и грузному пассажиру. Но он тоже не сел там.

...Косач! Это его голос. Уверенно тихий: человек знает, привык, что его постараются услышать. Этот голос я различил бы и среди тысячи.

А какой сделалась Глашина рука — точно из-под машины меня выхватила!

Какой он теперь, Косач? Во всяком случае, не слепец, как её муж.

Мотор и дребезжащее под сиденьем ведро заглушают общий разговор. Лишь самые резкие и самые весёлые голоса долетают, случайно сцепляясь и переплетаясь. («В прошлом году... да уже внуки есть... бомба разорвётся, облако взовьётся... ну, Костя, какой же ты! Дай людям поговорить... я говорю, что косачовцы везде... нет, я ему скажу, нашему «летописцу», этому... Эй, Столетов!.. Экзамен сдает в иняз...»)

Нереально, невозможно близкие голоса из далёкого-далёкого прошлого затопляют автобус. Сегодняшние случайные слова плавают поверху, как мусор, а знакомые голоса как бы помимо слов вливаются в меня, солоноватые, обжигающие...

Человек двадцать наших партизан. Некоторых я уже услышал, различаю: Косача, Костю-начштаба, Стомму, Рыжего, Столетова...

Костя, наш начштаба, — всё такой же мальчишеский голос, — вламывается сразу во все разговоры: хохочет, выкрикивает фамилии, клички, нарочито бессмысленные слова («Деда не забыли?.. Столетов, сними нас для истории. У тебя это здорово получается... Дед, ты у кого такую шляпу раздобыл?.. Мэнш!.. Не мешай, жонка!..»)

Да, он такой, наш Костя-начштаба, с ним и среди чистого поля будет тесно: каждого толкнёт, обнимет и тут же осмеёт. Не очень солидный для своей должности. Двадцать два или двадцать три ему... Было. Но

его любят (любили): дело своё понимал, воевать умел. Не хуже Косача.

Косач тут, рядом. За спиной у меня. «Здравствуйте!..» — поздоровался сначала и с Глашей, но что-то прочёл на лице Глаши и тут же отделил: «Здравствуй-те, Флёра!» Вон какая сделалась Глашина рука! Испуганная и твёрдая. Сидит рядом со мной, очень прямая, напрягшись, я и не вижу, а знаю.

Такой же он громадный, сильный? Голос, во всяком случае, тот же.

Мне всегда хотелось понять: замечает он сам или не замечает эту свою постоянную иронию, порой, казалось, произвольную?

— Я ему прямо сказать могу! — голос откуда-то сзади. — Мы его, примачка, из-за печки вытащили, в партизаны силой приволокли, а теперь...

О ком это? И чей голос? Нервный, вспыльчивый. Хлопцы уже подзаводят человека, это у нас всегда умели.

— Секретарша не пустит.

— А ты по телефону ему. Верно, Зуёнок? Или телеграммой.

Конечно же, это он, Зуёнок. Наш главный хранитель партизанской геральдики. Зуёнок всегда помнил, и очень точно, кто в каком году и даже в каком месяце пришёл в партизаны. И кто какого уважения заслуживает. Всю семью Зуёнка немцы выбили ещё в сорок первом, когда он ушёл в лес. Именно по его длинным и настойчивым письмам поставлены многие наши памятники. И этот, который мы едем открывать. Я впервые еду: когда мог, глаза были, встречи такие ещё не практиковались. А Зуёнку так даже доставалось за попытки собрать нас: «Какие такие встречи? Кому это нужно?»

— До ночи ползти будем с такой ездой! Я на своем хозвзводовском быстрее поспевал.

— О, дед наш к самолётам привык!

Заехать заодно и в Хатынь, хотя это совсем не по дороге в партизанские края наши, — тоже инициатива Зуёнка. Для меня это особенно важно — побывать в Хатыни. Хотя что я там увижу? Увижу не то, что там сейчас, а что было. Что оно такое, наши Хатыни, я знаю. Это я знаю...

А хоззводовский дед всё беспокоится, поспеем ли в оба конца, не опоздаем ли. Сколько ему? Стариком он и тогда нам казался. Говорит, как горячую бульбочку ест: сипит, дует, крикает за каждым словом. И неуверенный смешок хлопотливого и добродушного крестьянина. Как-то сумел, собрал Зуёнок всех нас, и городских и с района, в этот автобус.

— Ничего, — отзывается кто-то (кажется, Рыжий), — больше нас ждали.

У Рыжего даже ирония обнаружилась в голосе. Послевоенная, наверное. Раньше все над ним подшучивали, а он только посапывал облупившимся носом да обещал: «Вот как двину левой!»

— А какой хоть памятник, а, Зуёнок? — спрашивают с заднего сиденья.

— Курган, школьники насыпали.

— А какой бы ты хотел себе? — кричит Костя-начштаба.

— Я что-то не подумал про это, когда ходили — помните? — по горящему болоту. Как на верёвке ходили по кругу.

Мельтешат лица в моей памяти, тасуются, и ни одно не накладывается на этот голос с тихим покашливанием.

— Ребяткам всё одно теперь. (Дед.)

— Всё, да не всё! (Стомма.)

— Под таким, как в прошлом году, я не лёг бы.

— Зуёнок, учти пожелания! (Костя-начштаба.)

— Нет, а помните Чёртово Колено, как ходили по кругу по дымному болоту? Рассказываешь — не верят люди!

Кто это горелое болото, Чёртово Колено, вспоминает? Голос с таким знакомым, ласково-хитрым покашливанием. Ведмедь, он?..

Ну конечно же! Какой он теперь, без пулемётных лент через грудь и по поясу? Очень неудобно носить так патроны и непрактично: ржавеют, а в бою вытаскивай по одному, запихивай в магазин, в патронник. Уже для той, для Первой мировой войны придумана была удобная обойма: поставил в паз, надавил большим пальцем — и сразу пять патронов в винтовке. Но Ведмедь покорно таскал свое киноукрашение, а сам худенький, сутулый, в очках. Не возле девчат, конечно, его мысли вертелись, как у разбитных, украшенных оружием и ремнями разведчиков и адъютантов, а чтобы хоть покормили. Тётка сразу видела: человек воюет! А может, и тогда кино сидело в чахлой груди Ведмеда? Как-то пошли мы в кинотеатр, начался фильм, и вдруг смешок по залу: «Лев... Ведмедь...» Глаша тихонько воскликнула: «Ой, Флёра, наш Ведмедь Лёва директор этой картины!»

В кино я обычно с Серёжей хожу. Мы заходим в помещение к самому началу сеанса, чтобы не мучилась публика недоумением, зачем незрячему кино.

Сначала Серёжа шёпотом объясняет, что там, на экране, пока не уловлю, куда авторы гнут, а потом уже я ему помогаю смотреть, слушая фильм, как радио. Некоторые фильмы будто для меня сделаны — всё объяснено вслух, громко.

Но когда вдруг замирает зал перед онемевшим экраном — и только дыхание сотен людей, как перед

вскриком во сне, — вот тогда включается, загорается мой экран. Под внезапные крики, выстрелы с их экрана я вижу своё. То, чего никто не видит...

...— А вы, дядя, тоже партизан? — пристаёт Серёжа к Столетову, который перешёл к кабине и теперь, я слышу, сидит напротив меня.

— Тут все партизаны, мальчик. — Вопрос Столетову не понравился. — А ты пионер?

— Конечно, — Серёжа тоже возмутился.

— Не вывози дядю своими ботинками, — предупреждает Серёжу Глаша. С того мгновения, как она увидела Косача, всё в ней — я по голосу слышу (вижу!) — словно затвердело.

— Вы тоже косачовец? — добивается Серёжа. Он если пристанет!..

— Э, не-е! — обрадовался вопросу Столетов. — Я из отряда имени Сталина.

Столетов теперь сидит лицом к Косачу, они видят друг друга. Или Столетов, по обыкновению, вверх косит? Глаза его странно косят — к небу, к потолку.

— И папка твой никакой не косачовец, а имени Сталина.

Это одно и то же: по бумагам мы — отряд имени Сталина, а в деревнях, наверное, и сейчас помнят косачовцев.

Довольно экзотичный экземпляр этот Столетов, даже среди таких разных, как партизаны, людей.

Сначала, когда привели в наш Замошьевский лагерь нашкодившего инструктора онемечиваемых школ, который разъезжал по району с лекциями о «Гитлере-освободителе», это был рыхлый бледный человек с глазами, раскоряченными, как нам тогда показалось, от страха. Но не расстреляли, оставили в отряде (доказал, что снабдил десантников пишушей

машинкой и ещё чем-то канцелярским), и тогда мы поняли, что глаза у него такие от природы. От природы и очень согласные, как оказалось, с натурой столетовской.

На смену косящему испугу хлынул в Столетова, а из него на наши головы восторг, да такой, что хлопцы не знали, куда деваться. Подойдёт неслышно, замороженным шагом, станет перед Рыжим, Зуёнком или Ведмедем и смотрит влюблённо косящими к небу глазами. Точно головы их где-то там, в вершинах леса. Живыми на небо возносит!

— Ты чего? — удивился партизан с непривычки.

— Я?.. Ничего я... Может, обед вам тоже принести? Я иду на кухню.

— А что, принеси! Принеси, братка.

Вернулись однажды с какой-то операции, а Столетова не видно, нет ни в нашей землянке, ни поблизости. В лагере он, но нас вроде уже не замечает. Оказалось, Столетов уже штабная единица, писарь, а точнее, летописец. Убедил кого-то приезжавшего из бригады, что совершенно необходимо писать историю наших отрядов. Фронт уже накатывается, другие бригады спохватятся, а у нас, пожалуйста, всё готово.

Больше Столетов перед Ведмедем не вздыхал, косящие глаза его перенеслись на других, нас они как-то уже не вбирали.

Странные и в самом деле глаза у этого человека. Будто мерку снимает: приставит тебя к чему-то невидимому, потянет слегка кверху, как портной вытягивает воротник, спинку, но в глазах его приговор, даже обида — э, не, не дотягиваешь! До истории, что ли? Ещё раз потянет тебя кверху чёрными горящими (порой кажется — сумасшедшими) глазами, а в них улыбка. То-онкая-тонкая! Нас, мол, не обманешь... И уже окончательно вскинет глаза к небу, оставив тебя как

перед умчавшимся лифтом. Всякая фраза его вздёргивается на дыбы восторженно-уличающим: «Э, не-е!» Скажи ему, что сейчас двенадцать, он тут же уличит: «Э, не-е! Без двух минут!»

Что там получилось из летописи бригады, неизвестно. Только из косачовского штаба он вдруг вылетел так же стремительно, как и попал туда. У Косача такие дела без задержки оформлялись, не помог Столетову и опекун бригадный.

Дошло до Косача (в деревнях пожаловались), что «какой-то косой ваш» дядьку избил, баб пугал винтовкой, кого-то к стенке примеривал.

— Мы тут воюем, — оправдывался Столетов, — а какой-нибудь сидит, бородой замаскировался, и, пожалуйста, освобождай его. Я бы не всех назад пускал.

— Воюем? — переспросил Косач. — Вот и повоюй. А историю потом сочинишь. А для начала на «губу» его!

«Историю» Столетов сочинил, да только совсем не ту...

Соединились с армией. Одних — на фронт, других — хозяйство поднимать, и вдруг заминка с теми, кого работать в районе оставили. Столетовская папка всплыла, а в ней, оказывается, такое было написано (особенно про Косача, да и про других тоже), что, когда хлопцев вызывали, им не зачитывали вслух, а только пальцем по строчкам водили. Не решались своим голосом произносить фразы, будто бы слышанные Столетовым в нашем отряде. Что он там слышал, а что сочинил, трудно сказать. Партизаны действительно рассуждали (и порой очень горячо и открыто) о многом, о чём лишь после пятьдесят третьего заговорили и стали писать. Возможно, и в штабе что-то слышал. Но он, кажется, перемышьячил: одна смертельная доза мышьяка — смертельна, а десять зараз,

случается, лишь рвоту вызовут, моментально исторгнув себя из желудка. Не возвращать же пол-отряда с фронта! Кому-то неглупому попало дело. Столетову самому пришлось оправдываться, а заодно и за «Гитлера-освободителя». Долго о нашем «летописце» не слышно было ничего, но вдруг стал объявляться: очерки по радио, статьи. Ожил! Издал даже брошюру про то, как геройствовали десантники (те, которым он передал пишущую машинку). Скоро и на встречах стал появляться Столетов. Я не бывал на первых встречах, но слышал, что Столетов объявился, что снова восторг и влюблённость в косящих к небу глазах «летописца». Первое время, думаю, не церемонясь, напоминали ему про «историю» бригады, но похоже, что снова к нему стали привыкать. Отходчивы наши горячуны.

— Э, не-е, — тянет Столетов, как бы проверяя реакцию автобуса, — не-е, мальчик, мы с твоим папкой партизаны, а не какие-нибудь... («косачовцы» всё же не произнёс).

Уже песни поют, две или три одновременно.

Серёжа долго не догадывался, что у него отец не такой, как у других. А когда дошло до его детского сердечка — глянул однажды и внезапно понял! — закричал, заплакал, точно в это мгновение со мной всё и приключилось: «Кто тебя, папка, ты не бойся, скажи! Немцы, да, фашисты, да? Скажи, ты скажи!» Побегал в свой угол, схватил красную заводную мельницу и стал её, громко плача, ломать, бросил об пол. Глаша и я убеждали его: игрушку делали другие немцы, совсем другие.

С того времени дня не проходило, чтобы Серёжа не заговорил о моих «глазках». Мы с ним обсуждали план, как меня вылечат и я его, конопатого и черноглазого, увижу. Серёжа неуверенно смеялся, когда

я рассказывал, каким он предстанет передо мной и как я его не узнаю.

Первая операция — за три года до этого — была безрезультатной. Я решился снова, на вторую, ради Серёжи. Они с Глашей приходили ко мне в клинику, много говорили, Серёжа возбуждённо смеялся. Он был вполне уверен, что снимут повязку и я увижу его, всё увижу снова. А потом меня увозили домой всё с той же темнотой. Глаша тихонько плакала и гладила мою руку. Серёжа сидел возле таксиста, впереди, и я его не слышал.

Больше о моих «глазках» Серёжа никогда не заговаривал. Иногда по его дыханию, внезапно опавшему, я ощущаю, как страдальчески-изучающе он смотрит на моё лицо. Очень стали болеть глазные яблоки, они точно больше делаются, круглее. Мне даже предложили их вылущить, чтобы не болели, но я не согласился — тоже из-за Серёжи.

Сегодня Серёжа очень оживлён, весел: он едет в партизаны, кроме того, вокруг нас люди, которым не надо объяснять, кто его папка, наоборот, можно слушать, расспрашивать.

Мотор заглушает голоса в автобусе, мы едем лесом, но, когда деревья расступаются, открывается поле, я хорошо различаю голоса даже с задних сидений. И всё стараюсь представить, кто как выглядит. Заставляю себя делать поправку на время — четверть века минуло, как я их видел.

Я и самого себя представляю лишь десятилетней давности, каким я был, когда в мире ещё существовала такая вещь, как зеркало, а в зеркале — бледный узколицый человек с воспалёнными веками, с побелевшими висками и глубокими дугами у рта, всегда удерживающими виноватую улыбку.

Глаша пошла за такого замуж, но она, наверное, в каком-то другом зеркале меня видела, не столь без-